

Алексей Писемский

Леший



Алексей Феофилактович Писемский

Леший

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=661245

*А.Ф.Писемский. Собр. соч. в 9 томах. Том 2: Издательство «Правда»,
биб-ка «Огонек»; М.: 1959*

Аннотация

«Я был командирован для производства одного уголовного следствия в Кокинский уезд вместе с тамошним исправником, которого лично не знал, но слышал о нем много хорошего: все почти говорили, что он очень добрый человек и ловкий, распорядительный исправник, сверх того, большой говорун и великий мастер представлять, как мужики и бабы говорят...»

Содержание

| | |
|------------|----|
| I | 4 |
| II | 17 |
| III | 62 |
| IV | 69 |
| Примечания | 72 |

Алексей Феофилактович Писемский Леший *Рассказ исправника*

I

Я был командирован для производства одного уголовного следствия в Кокинский¹ уезд вместе с тамошним исправником, которого лично не знал, но слышал о нем много хорошего: все почти говорили, что он очень добрый человек и ловкий, распорядительный исправник, сверх того, большой говорун и великий мастер представлять, как мужики и бабы говорят. Получив общее с ним поручение, я хотел сам за ним ехать в Кокин, но он меня предупредил и дождался уже в усадьбе Маркове, которая стоит на самом повороте с кокинского торгового тракта на проселок, ведущий к месту нашего назначения.

Только что я вышел из повозки, он подошел ко мне и проговорил официальным голосом:

– Честь имею представиться: кокинский земский исправ-

¹ Название вымышленное. (Прим. автора.)

ник.

Он был уже человек пожилой, но еще бодрый, свежий и вообще имел наружность приятную и умную. За его служебную вежливость, на которую, впрочем, давали мне некоторое право наши служебные отношения, я поспешил ответить ему тем же и взаимно представился, чем он остался с своей стороны, кажется, весьма доволен. Я спросил его, когда мы выезжаем.

– Я думаю, сейчас же: зачем золотое время терять! – отвечал он и тут же распорядился мне об обывательских, а себе велел закладывать свой тарантас.

В ожидании лошадей мы сели с ним на привалок около избы.

– Давно вы служите? – начал я.

– Давненько-с: по вниманию дворянства, выбираюсь три трехлетия и второе шестилетие.

–хлопотлива ваша служба?

– Не без того-с... привычка: сначала, когда поступил, так очень было дико; только что вышел из военной службы, никого, ничего не знаю; первое время над бумагами покорпел, а тут, как поогляделся, так понял, что, сидя в суде, многого, не сделаешь, и марш в уезд, да с тех пор все и езжу.

– А суд как же?

– В суде что-с? Все эти суды, я вам доложу, пустое дело; ежели по правде теперь сказать, так ведь только мы, маленькие чиновники, которые по улицам-то вот бегаем да по про-

селкам ездим, – дело-то и делаем-с, а прочие только ведь и есть, что предписывают, – поверьте, что так!

Пока мы разговаривали таким образом, около нас собралась толпа мальчишек. Маленький, худощавый, со всклокоченными волосами горбун притащил с ведро величины дегтярницу и силился на жерди поднять задок моей брички.

– Перестань, косолапый, достатки хребет сломаешь! – крикнул исправник.

– Ничаво, кормилец: може, и смогу, – отвечал тот.

– Перестань, надорвешься! – крикнул опять исправник. – Матвей! Смажь бричку. Где этому хрычу возиться тут! – сказал он хлопотававшему около тарантаса своему кучеру, парню лет двадцати пяти, с намавленной головою, в красной рубашке, в плисовых штанах и с медною сережкой и ухе.

Матвей подошел.

– Что, дядя, видно, это не кузовья таскать? А на спине, кажись, и подкладка есть... Не замай, пусти, – сказал он и молодецкато поднял задок брички, поставил дугу под жердь, одним взмахом руки сдернул колесо и начал мазать.

– Здоров, паря, – проговорил горбун, глядя с удовольствием на кучера.

– Эй ты, горбатка! Тройка, что ли, у тебя завелась? Извозничать, что ли, начал? – спросил его исправник.

– Нету-тка, сударь. Какая тройка! Всего две: одна-то кобылка, а другой меринок – почесть что жеребенок: всего весною три годка минуло.

– А третья чья же?

– Третья от дяди Захара пойдет.

– По охоте, что ли, везете?

– Какое, родимый, по охоте: время рабочее, сам знаешь...

какое по охоте!.. От Егора Парменыча приказ был, меня и Захара нарядил... Какое уж по охоте!

– А Егор Парменов дома?

– Дома-тка, надо быть: дома утрось был.

– Для чего же барскими лошадьми не справляют подвод:

барин это разрешил, я вам толковал.

– Ты-то, кормилец, толковал, да где! Все мы справляем.

Исправник нахмурился.

– Вы не поверите, сколько у меня битвы с этими управителями. Только и ладят себе в карман; а чтобы барину угодить, так едет на мужике, – отнесся он ко мне и потом крикнул: – Федька!

Один из мальчиков, повыше и поумнее лицом, подошел.

– Поди, позови ко мне управителя. Знаешь, где он?

– Знаю, – отвечал мальчик.

– А где?

– Во хлигеле, – чай, поди, во хлигеле пьет.

– Ну, так ступай и позови его сюда... Валяй!

Мальчишка побежал вприскок; за ним побежали двое и еще двое; осталась только лет трех девчонка, которая заревела во все горло, приговаривая: «Нянька ушел, нянька ушел».

– А кто здесь управитель? – спросил я.

– Здесь управитель персона важная-с, – отвечал исправник, – бывший камердинер господина и вступивший в законный брак с мамзелью, исправлявшей некоторое время при барине должность мадамы, а потом прибыл сюда отращивать себе брюхо и набивать карман; не знаю, чем кончится, а я его поймал на одну штуку – кажется, что сломлю ему голову. Не могу, сударь, видеть этого лакейства, особенно когда они в управители попадут.

– Стало быть, вы думаете, что бурмистры из мужиков лучше? – заметил я.

– Не в пример лучше-с, – отвечал исправник, – я, скажу вам, наблюдал над этим много. Конечно, и из них есть плуты, особенно который уж много силы заберет, но вместе с тем вы возьмите, сколько у него против лакея преимуществ: хозяйственную часть он знает во сто раз основательнее, и как сам мужик, так все-таки мужицкую нужду испытал, следовательно, больше посовестится обидеть какого-нибудь бедняка; потом-с, уваженья в нем больше, потому что никогда не был к барину так приближен, как какой-нибудь лакей, который господина, может быть, до последней косточки вызнал, – и, наконец, главное: нравственность! Я вам прямо скажу, все эти господа камердинеры, дворецкие, они с малых лет живут на свободе, в городе, а город – баловник для людей; в деревне чего бы и в голову не пришло, а тут как раз научат. Он и трубку курит, и в карты играть охотник, и шампанское пить умеет, и выходит поэтому, что толку-то на деле нет, а только

форс держат, да еще какой, посмотрели бы вы! Ни один господин не решится над мужиком так важничать, как ломаются эти молодцы. Я многим из них посшибал головы.

– Каким же образом вы принимаете участие в их управлении?

– Да и сам уж не знаю, как это вышло: по службе-то ведь беспрестанно сталкиваешься с этими молодцами, и я, как, бывало, прежние исправники, не сближаюсь с ними, а вхожу прямо в переписку с барами и такой своей манерой добился теперь до того, что на все почти имения имею доверенные письма; и если я теперь какие-нибудь распоряжения делаю, мне никто из них не ткнет в зубы: «Барину напишу», – врешь! – Я первый напишу.

– Вам, я думаю, и все помещики благодарны?

– Ну, не все-с. Впрочем, – продолжал он с некоторым самодовольством, – многие важные особы, когда сюда приезжают, со мной знакомятся, ласкают меня, благодарят... Я даже, милостивый государь, имею несколько собственноручных писем от князя Дмитрия Владимировича², бывшего московского генерал-губернатора, удостоился потом чести быть лично с ними знакомым и пользовался их покровительством. Чего ж мне больше? Я бьюсь не так, чтобы уж особенно из-за денег. Дети у меня, благодаря бога и по милости этого моего хорошего знакомства, все уж пристроены, на

² Князь Дмитрий Владимирович – Голицын (1771—1844), бывший московским военным генерал-губернатором с 1820 по 1844 год.

своих местах, и не только что от меня ничего не требуют, но еще мне же помогают. Если вам откровенно сказать, так я и служу больше по привычке; силы еще есть, начальству, вижу, приятна моя служба, потому что, кто ни будет на моем месте, другой, неопытный, так не вдруг еще привыкнет, на первых порах, как ни бейся, а того не сделает, что я... Привычка-с!.. Вот катит, полюбуйтесь: какой гог-магог³, – заключил исправник, указывая глазами на идущего управителя, который с первого же взгляда давал в себе узнать растолстевшего лакея: лицо сальное, охваченное бакенбардами, глаза маленькие, черные и беспрестанно бегающие, над которыми шли густые брови, сросшиеся на переносье. Одет он был очень презентабельно и, как требовало время года, совершенно по-летнему: в сером казинетовом пальто, в пике-жилете, при часах на золотой цепочке, с золотым перстнем на грязной руке и в соломенной шляпе, которую он, подойдя к нам, приподнял и расшаркался.

– Приказание получил явиться к вам! – отнесся он к исправнику.

– Здравствуйте, батюшка Егор Парменыч! Повидаться с вами захотелось; сами вы уж заспесивились и глаз не кажете, – отвечал исправник.

Управитель переступил с ноги на ногу.

– Сбирался еще до присыла вашего, да так полагал, зная

³ Гог-магог. – Правильнее Гог и Магог, имена двух мифических народов, встречающиеся в библии и коране. В тексте – в значении «важная персона».

усердие ваше, что делами изволите заниматься, а очень было бы приятно, если бы осчастливили меня и пожаловали ко мне чаю или кофейку откусать или закусить бы чего-нибудь: дело дорожное.

Исправник взглянул на меня.

– С удовольствием бы, да не охотник я до закусок-то, – сказал он.

– Уж это точно справедливо изволили сказать про себя. Чем только вы живы, мы тому удивляемся! Эдакого постника, как вы, я и в Петербурге не видывал, хотя и там господа тоже очень воздержны на пищу, – проговорил управитель и потом, видя, что исправник ничего ему не возражает, продолжал, вздохнув: – Все это, я полагаю, от вашей заботливости происходит. Вот хоть бы и наш господин – проходит он, как небезызвестно вам, должности большие, и часто, бывало, когда я еще при особе их состоял, если получают они какое-нибудь повышение или награждение, поздравить их, одевая поутру, они только головкой помотают: «Эх, говорит, Егор Парменов, повышению я рад, да и забот прибавится». И точно-с: и сна, посмотришь, лишатся и пищи уж меньше употребляют... Очень тоже старательный к службе.

– Что и говорить! – возразил исправник с усмешкою. – Ты не только что на господине, и по себе можешь судить это.

– Именно могу, Иван Семеныч. Если сравнить свое положение с простым мужиком, так увидишь большую разницу: какая ему забота! Отпашет он свою полосу, натреплется

тюри да и спать; а ты, например, пять запашек одних: все надобно присмотреть; конский завод, сплавные леса, четыре тяжёбных дела на руках, межеваньё теперь идет; а неприятностей-то сколько получишь! Иногда какая-нибудь посконная бабенка, за которую двух грошей дать нельзя, и та тебя так расстроит, что ничему не рад. Все это в воображении имеешь: какой тут сон или пища! Ничего на ум не пойдёт.

При последних словах исправник взглянул на управителя пристально; тот остановился и начал глядеть по сторонам.

– Приказанья больше никакого не будет? – спросил он, помолчав.

– Да приказанье такое: ты все прежней своей методы не оставил – подводы мужиками справляешь! Я уж об этом барину писал и ответ получил.

– Я, признаться, и сам об этом господину описывал. Неужели же, Иван Семеныч, я смел бы иметь против вас какое-нибудь сопротивление, если бы сил моих только хватало; сами изволите знать, половина запашки идет на барских лошадях – сморены так, что кожа да кости. Вдруг барин наедет, куда я тогда поспел?

– А у мужика разве лошадь не в работе? Она больше твоих барских работает.

– У них лошади особенные: сносливые, – ихным лошадям ничего; а наши кони нежные, их должно беречь пуще зеницы ока.

– Зачем же сам-то по праздникам на тройках гоняешь?

– Мне, сударь, нельзя не выехать: должность моя такая, что я должен ездить.

– Экая у тебя должность славная – все по праздникам! Вот эта ездил в Введенское на храмовой праздник, к скарловановскому Федору Диеву на новоселье, к вонышевским мужикам на Никольщину... Отличная у тебя должность! Хоть бы и нам такую.

– На соседстве без знакомства не проживешь; без этого уж нельзя: сам принимаешь к себе, так и меня тоже просят.

Горбун привел своих двух лошадей, которых он весьма справедливо называл уменьшенными именами, потому что в каждой из них было немного более двух аршин росту; вслед за ним вел и дядя Захар свою; она была в том же роде, только гораздо худее и вся обтерта. Горбун начал было закладывать.

– Не можете ли вы доехать со мною в тарантасе? Бричку вашу здесь оставим: сюда же вернемся, – сказал мне исправник.

Я согласился.

– Эй, вы, не надо! Ведите лошадей домой, – проговорил он мужикам.

– На том те спасибо, кормилец, – проговорил горбун и, сняв шапку, поклонился в пояс.

Захар тоже, хотя не так скоро и не сказав ничего, но приподнял шапку и поклонился. Оба мужика повели лошадей назад. Меринок горбуна, кажется, был рад не менее своего хозяина, избежав необходимости везти; он вдруг заржал и

лягнул задом.

– Эка, паря, веселый какой! – проговорил ласковым голосом горбун и повел коней в поле.

Дядя Захар иначе распорядился: он вывел свою худощавую лошаденку на половину улицы, снял с нее узду и, проговоря: «Ну, ступай, одер экой!», что есть силы стегнул ее поводом по спине. Та, разумеется, побежала; но он и этим еще не удовольствовался, а нагнал ее и еще раз хлестнул.

– Эй, ты, длинновязый, зачем ты лошадь бьешь? – вскрикнул исправник.

– Что, бачка?

– За что ты бьешь лошадь?

– Я, бачка, не бью ее, а так только шугнул.

– Я тебе дам, шугнул! Эдакой лошадиный живодер! Каждый год, сударь мой, лошади две заколотит... Только ты у меня загони эту лошадь, я с тобой справлюсь.

– Ништо бы ему! Кормилец, справедливо баешь, – отозвался подошедший и ставший около нас, с сложенными руками, рыжий мужик, – эдакой озорник на эту животинку, что и боже упаси!

Управитель на всю эту сцену глядел с насмешливою улыбкою.

– Зверь бесчувственный, и тот больше понимает, чем этот народ, – заговорил он, – сколько им от меня внушений было, – на голове зарубил, что блажен человек, иже и скоты милует... ничего в толк не берут!

– Не все такие, – хоть бы и из нашего брата, Егор Пармeныч, – возразил рыжий мужик, – може, во всей вотчине один такой и выискался. Вот горбун такой же мужик, а по-другому живет: сам куска не съест, а лошадь накормит; и мы тоже понимаем, у скота языка нет: не пожалуется – что хошь с ней, то и делай.

– Понимаете вы! Ничего вы не понимаете, – кто вас знает хорошо!

– Твое дело как знаешь, так и бай, а нам Захарка не указ: худой человек, худой и есть – не похвалим.

Подали тарантас. Мы начали с исправником усаживаться. Егор Парменов немного струсил.

– Батюшка Иван Семеныч, что вы изволите тесниться, – отнесся он к нам, – если вам угодно, я сейчас же велю господских лошадей изготовить, самую лучшую тройку велю заложить.

– Спасибо! Доедем как-нибудь... пошел! – отвечал исправник.

Мы тронулись.

– Я того очень опасуюсь... не подумайте вы чего-нибудь, – говорил управитель, хватаясь за край тарантаса и идя за нами, – к капризу моему не отнесите. Мы никогда этим не потяготимся. Толком мне давеча не сказали, потому такое распоряжение и вышло. Смею ли я что-нибудь! Как это возможно! У нас и от помещика есть приказ, чтобы чиновников не останавливать. Сделайте милость, – продолжал он, – при-

останьтесь на минуту, а тем временем, как лошадей закладывают, пожаловали бы ко мне... Если вас, Иван Семеныч, не смею попросить чего-нибудь откушать, так, может, господин губернаторский чиновник не откажут мне в этой чести. Мы высоко должны ценить ваше внимание: если вы к нам милостивы не будете, что ж мы после этого значим? Ничего.

– Нет, брат, теперь некогда... Трогай живее! – крикнул исправник.

Кучер взмахнул кнутом и как-то особенно присвистнул; лошади разом хватили, так что Егор Парменов отлетел в сторону и едва устоял на ногах.

II

Проехать надобно было верст тридцать проселком. Мы трусили, где только можно, и все-таки ехали очень медленно. У меня из головы не выходил управитель.

– Вы говорили, Иван Семеныч, что управителя этого поймали на какую-то штуку, – сказал я, желая вызвать исправника на прежний его разговор.

– Поймал, милостивый государь, есть такой грех, – отвечал он с самодовольством. – Казус этот замечательный. Если хотите, я вам расскажу. Только уж вы извините, я начну издалека: скоро сказка оказывается, да не скоро дело делается.

– Сделайте одолжение, – сказал я.

Исправник откашлялся, понюхал табаку и начал:

– Есть у меня, сударь, в уезде на самой границе, волость, под названием Погорелки – дичь страшная, лесовик раменной⁴ на верхушку дерева посмотришь, так шапка с головы валится. На всем этом протяжении всего и стоят только три деревнюшки да небольшой приходец в одно действительство, и все это, извольте заметить, и деревнюшки, и лесные дачи принадлежат одному господину с Марковым. Ну, и здесь, как вы видите, народ не бойкий, а там еще проще: смиренница такая, что не только дел каких-нибудь, а рассыпь, кажет-

⁴ Лесовик раменной – густой, дремучий лес.

ся, в любой деревнюшке кучу золота на улице, поставь палочку да скажи, чтоб не трогали, так версты за две обходить станут. В начальные десять лет моей службы я почти что и не бывал там: незачем! Вдруг в управители приезжает этот хват, является ко мне с письмом от барина. Поговорил я с ним: вижу, парень неглупый, должно, быть, грамотный, – говорит бойко. Одно только мне не понравилось в нем, как и вы, может быть, заметили, – глаза его, никак сударь, он ни на кого не может смотреть прямо: все у него эти буркалы бегают, – и не то чтобы он кос был, а так как-то, просто плутоватый взгляд; сейчас видно, душонка нечиста. Впрочем, я обласкал его для первого раза, но взял себе за правило – наблюдать за ним строго. Он не промедлил-с выкинуть штуку такого рода, что написал барину, будто бы по имению все в страшном беспорядке, все запущено, разорено, и таким, сударь, манером представил прежнего старого бурмистра, мужика хорошего, что совсем было погубил того; я это узнаю стороною и, конечно, понял его канальскую выдумку: до меня-де было все мерзко да скверно, а как стал я управлять, так все пошло прекрасно. Ну, думаю, голубчик, не знаю, как при тебе пойдет, а вот тебе на первых порах следует дать сдачи, чтобы ты не завирался, и тотчас же пишу к барину письмо совсем в другом духе и объясняю прямо, что донесения нового управителя вовсе несправедливы, что по имению, как досконально известно мне по моей службе, никаких не было особых злоупотреблений, и что оно управля-

лось так, как дай бог, чтобы управлялось каждое заглазное имение, и вместе к тому присоединяю, не то чтобы прямо, а так стороной, давешнюю мою сентенцию, которую и вам высказал, что я, с своей стороны, считаю совершенно безвыгодным заменять бурмистров из мужиков управителями, ибо они в хозяйственных распоряжениях очень неопытны, да и по нравственности своей не могут быть вполне благонадежны. После моего письма, слышу, прислали Егору Парменову сверху зуботычку, и зуботычку порядочную; мне тоже письмо собственноручное от помещика: благодарит меня за участие, просит на будущее время, если что замечу, то и сам могу отменить или по крайней мере уведомил бы его. Стал меня Егорка побаиваться; но, невзирая на это, плутни его вижу на каждом шагу: то нападет он на мужика, который побогаче, – я заступлюсь; то сделает с купцами сделку и запродаст хлеб не в пору за полцены – я опять поймаю и найду других покупателей. Вдруг раз доносит господину, что конские дворы пристоялись и что он уже подрядил новые за три тысячи серебром, а я пишу барину, что дворы требуют только небольшой поправки и что три тысячи серебром за такие дворы в здешнем месте цена неслыханная – ему опять плюха. Играл я с ним в эту игру года четыре, точно кошка с мышью: поотпущу его немного, дам обнюхать какую-нибудь плутню, и только бы ему сплутовать, а я его и цап. Сбирался было, признаюсь, несколько раз написать барину письмо решительное, но все как-то останавливался: как, думаю, еще

примется, по услуге его ему, может быть, многое прощается, ихние дела, кто их знает; жду, что будет дальше, – и можете себе вообразить, каков шельма этот человек: пять лет я, милостивый государь, не знал его главной проделки и открыл как-то уж случайно. Как прежде я вам докладывал об этой Погореловской волости... вдруг доходят до меня слухи, что Егор Парменов начинает туда ездить каждую неделю, и что-де там барскую запашку завел, флигель выстроил и назвал Новоселком. Что такое, думаю, это значит? Если ради выгод барских, так там выгод больших не у чего соблюсти, и первое, что, признаться, пришло мне в голову: мужиков, думаю, каналья, хочет стеснить. По Маркову и по другим селениям я часто наезжаю и воли ему не даю, а там, в захолустье, делает что хочет. Начал и я ездить в Погорелки, в новую эту усадьбу, как эдак, знаете, невдалеке, верстах в пяти, в шести, еду, так уж непременно заверну. Он меня ловит, как молодой месяц, и покуда я там, точно адъютант мой: так по стопам моим и следует. Однакоже я урывками, ущипками расспрашиваю мужиков: что-де и как и нет ли каких от управителя притеснений? – «Нету-тка, любезненький, греха на душу не возьмем, никаких нам от Егора Парменыча притеснений нетути, а еще против прежнего лучше стало». Задал он мне, милостивый государь, этим задачу; вижу, что тут что-нибудь кроется, а поймать не знаю на чем. Заезжаю я раз в этот флигель ночевать; дело было в субботу, а на другой день, по воскресному дню, поехал к приходу помолиться. Егор Парменов тут

же и не отстаёт от меня; я в своем тарантасе, а он верхом. Приезжаем: ну, я, по званию своему, знаете, стал впереди; Егор Парменов немного сбоку или так, что почти рядом со мной, и две вещи делает: либо богу усердно молится, либо обернется ко мне и начнет на ухо шептать разные эдакие пустяки, и я очень хорошо понимаю, с какими мыслями он это делает: молится, извольте видеть, чтобы мне угодить, потому что я люблю богомольных, а со мною шепчется, чтобы мужикам дать тон: вот-де я с исправником на какой ноге. В половине обедни только что запели херувимскую⁵, вдруг около меня что-то стукнуло, застонало, потом зарыдало. Я обернулся, смотрю, народ столпился; спрашиваю, что такое.

– Кликуша, – говорят, – батюшка, кликуша!

– Откудова?

– Из Дмитриева, – говорят, – из самой этой, знаете, дальней деревни по волости.

– Ну так что ж, – говорю я, – помочь надобно!

– Ничего, родименький: прикрыли уж; только бы не изменять.

– Поверье у них, знаете, этакое: коли уж случился с кем припадок, так не надо трогать, а только прикрыть. Однако я на это не посмотрел: велел вынести ее на паперть и сам вышел. Смотрю – девушка молодая, лежит вверх лицом, слезы градом, сама всхлипывает. Были со мной в дороге гофманские капли, дал я ей, почти что насильно разинул рот и влил

⁵ Херувимская – церковная песнь.

– поочувствовалась. Начала было опять проситься в церковь – я не пустил, а позвал сейчас из их деревни мужика и велел отвести ее в дом к священнику. Егор Парменов тоже вышел за мною и что-то очень семерит; я с ним не говорю. Надобно вам сказать, что кликуш этих в простонародии бывает много-с, и они, по-своему, толкуют, что это от порчи делается, а господа другие понимают, что это одно только притворство, шалость, а в самом деле ни то, ни другое, – просто истерика, как и с нашими барынями бывает! Душа ведь тоже и у них есть!.. Другая, которая понежнее, почувствительнее, житьишко, может быть, плохое: то свекор в дугу гнет, то свекровь поедом ест, а может, и муж поколачивает: вот она неделю-то недельски тоскует, тоскует, придет в церковь, начнет молиться, расчувствуется, а тут еще ладаном накурено, духота, ну и шлепнется. Много я эдаких примеров видел. Впрочем, эта новая кликуша как-то, и сам не знаю отчего, больше других меня заинтересовала. Как только обедня кончилась, выхожу я из церкви; вижу, впереди идет сельский мужик, по прозванию «братик»; поговорку он, знаете, эдакую имел, с кем бы ни говорил: с барином ли, с мужиком ли, с бабой ли, с мальчишкой ли, всем приговаривает: «братик»; а мужик эдакой правдивый: если уж что знает, так не потаит, да и лишнего не прибавит. Нагоняю я его, поздоровался с ним.

– Пойдем, – говорю, – Савельич, в сторону: переговорить мне с тобой надо.

Отошли мы с ним.

– А что, – я говорю, – кликуша эта при мачехе, что ли, живет?

– Какое, братик, при мачехе... при родной матери! Устину кривую, чай, знаешь? – отвечал он мне.

– Ну, не совсем: слышать-то слышал, что баба хорошая, а не видал.

– Ну да, братик, старуха умная, домовитая, разумом-то будет, пожалуй, против хорошего мужика, особенно по здешнему месту.

– Отчего ж с девкою сделалось?

– Много, братик, болтают, – обереги бог всякого человека, – доподлинно я не знаю: за что купил, за то те и продаю.

– Известно, – говорю, – что ты сторона: испортили, что ли ее?

– То-то, братик, не испортили! Кабы от человека шло, может, и помогли бы; а тут хуже того.

– Что же такое хуже того? – спрашиваю я.

Братик мой, знаете, этак приостановился немного, подумал, потом вдруг мне на ухо говорит:

– Леший, – говорит, – ее, братик, полюбил.

– Как, – говорю, – леший полюбил?

– Полюбил, – говорит, – там как знаешь, так и суди; а бают, что полюбил; нынешним летом таскал ее, месяца четыре пропадала, – это уж я за верное знаю.

– Да как же, братец, таскал? Я что-то этого не понимаю.

– Я сам тоже, братик: кто их знает! Мало ли что врут в народе. Я опять те скажу: за что купил, за то и продаю; а болтают много: всего и не переслушаешь.

«История, думаю, начинает становиться заманчива».

– Как же, – говорю, – она опять дома очутилась?

– Бог их, братик, знает! Нам всего сказывать не станут, а мать проговорила, будто в сени ее подкинули в бесчувстве; а как там взаправду было, не знаю: сам при этом деле не был.

Толкую-с я, таким манером, с мужиком, вдруг Егор Парменов как из-под земли вырос.

– Вы, ваше высокоблагородие, – говорит, – эту нашу из Дмитрева больную девку изволили к священнику послать?

– Точно так, – говорю, – любезный.

– А я, сударь, – говорит, – осмелился переменить ваше приказание и отправил ее домой.

– Напрасно! Для чего ты это сделал?

– Потому что-с время теперь, – говорит, – праздничное: к матушке-попадье и без того много народа идет, и родственники тоже наехали: побоялся, чтобы не было им какого беспокойства от больной, – да и той на народе зазорно.

– Ну, ладно: коли уж так распорядился, так делать нечего, будь по-твоему, – говорю я ему, а сам с собою думаю: «Шалишь, любезный, у тебя тут что-то недаром, какая-нибудь плутня да кроется».

В это время подали мой тарантас; я сажусь, он тоже усаживается на своего коня. Дай, думаю, по горячим следам по-

расспрошу его: не проболтает ли чего-нибудь.

– Эй, – кричу, – Егор Парменыч! Полно тебе трястись на седле: садись со мною в тарантас.

Он принимает это с большим удовольствием. Поехали мы с ним. Народу идет тьма и в селе и по дороге, кланяются нам, другой еще гоны за три шапку ломит; я тоже кланяюсь, а Егор Парменыч мой, как мышь на крупу, надулся и только слегка шапочкою поводит. И досадно-то и смешно было мне смотреть на него, каналью.

– А что это, – говорю, – Егор Парменыч, – как объехали мы весь народ, – что это такое за кликуша? И отчего это с ними бывает?

– Это-с, – говорит, – бывает неспроста: это по колдовству.

– Да как же, – говорю, – братец, как оно и в чем состоит?

– А так-с, – говорит, – здесь этой мерзости очень много. Здесь народ прехитрый: даром, что он свиньей смотрит, а такой докуменщик, и то выдумает, чего нам и во сне не снилось.

– Да кто же это именно колдует, на кого поклеп-то идет? – спрашиваю я.

– Клеплют больше старых бобылок; и точно-с: превредные! Иную и не узнаешь, а она делает что хочешь: и тоску на человека наведет или так, примерно, чтобы мужчина к женщине или женщина к мужчине пристрастие имели, – все в ее власти; и не то, чтобы в пище или питье что-нибудь дала, а только по ветру пустит – на пять тысяч верст может дей-

ствовать.

Выслушал я всю эту его болтовню, и еще меня больше сомнение взяло. Знаю, что этакой плут и не в колдуний, а во что-нибудь и поважнее не сразу поверит, а тут так настоятельно утверждает. Начал я ему пристально в рожу смотреть и потом вдруг спрашиваю:

– А что, – говорю я, – эта сегодняшняя девушка, отчего она выкликала?

Вижу, его немного подернуло; но плут, будто бы ненарочно, сейчас вынул платок, обтер лицо и отвечает:

– Признаться, – говорит, – я и не знаю хорошенько; своих много хлопот, так и не расспрашивал, – а думаю, тоже с порчи: дом у них получше других, она из себя этак красивая, так, может быть, кто-нибудь от зависти взял да и сделал с нею это.

– Да как же, – возразил я, – ты что-то мне неладно говоришь, с девкою этою приключилось не от того. Я знаю, что ее леший воровал, она, слышно, пропадала долгое время. Зачем же ты меня обманываешь? – А сам все ему в рожу гляжу и вижу, что он от последних моих слов позеленел, даже и в языке позамаялся.

– Как, – говорит, – пропадала?

– Да так же и пропадала, как пропадают.

– Ничего, сударь, – говорит, – я не знаю, – а у самого голос так и дрожит. – От вас только в первый раз, – говорит, – и слышу, и очень вам благодарен, что вы мне сказали.

– Не стоит, – говорю, – благодарности. Только зачем же ты меня-то морочишь? Кто тебе поверит, чтобы ты, такой печный⁶ управитель, и будто бы не знал, что девка из ближайшей вотчины сбегла? Клепнешь, брат, на себя.

Закрестился, забожился.

– Провалиться, – говорит, – мне на этом месте, если мне кто-нибудь об этом доводил. Сами изволите видеть, – говорит, – какой народец здесь: того и жду, что, пожалуй, что-нибудь хуже того сделают и от меня скроют. Я все здоровье свое с ними потратил. Делать, видно, нечего: буду писать к барину и стану просить себе смены. Коли в мужиках настолько страху нет, что по сторонам везде болтают, а от меня утаивают, какой уж я после этого управитель!.. – И понес, знаете, в этом роде околесную и все наговаривает мне на мужиков и то и се: что будто бы они и меня бранят и собираются на меня подать прошение губернатору; я все слушаю и ничего ему не возражаю. Въезжаем, наконец, в новоселковское поле.

– Ну, – говорю, – Егор Парменыч, прощай!

– Куда это вы, сударь?

– Так, – говорю, – надобно заехать тут не遠далеке, – а между тем сам решил ехать прямо в Дмитревское.

Он, шельма, должно быть, проник мое намерение.

– Я было, батюшка, к вам с просьбицей.

– Что такое?

– Да нельзя ли, – говорит, – вам со мною в нашу подгород-

⁶ Печный – заботливый.

ную усадьбу съездить. Там, – говорит, – теперь идет у меня запродажа пшеницы, так чтобы после каких-нибудь озадков⁷ не было и чтобы мне от помещика моего не получить неудовольствия: лучше, – говорит, – как на ваших глазах дела делаются, – и вам будет без сомнения, да и мне спокойнее.

Это, изволите видеть, он ладил отвезти меня верст на семьдесят от Погорелок, а там, покуда в другой раз наеду, так можно успеть обделать все, что надо.

– Нет, – говорю, – Егор Парменыч, извини меня на этот раз, сомнения от меня не опасайся, продавай с богом, а мне теперь некогда, – прощай!

Он видит, делать нечего-с, вышел у меня из тарантаса, сел на своего коня и поскакал во все лопатки к Новоселкам. Я тоже велел ехать как можно скорее; но, знаете, проселок: все лесом, рытвины, колеи, коренья – того и гляжу, что либо ось пополам, либо дрога лопнет. Ну, думаю, черт его дери: «Пошел, говорю, тише!» Едем мы маленькою рыскою; вдруг слышу, кто-то скачет за нами; обернулся я, гляжу: верховой, и только что нас завидел, сейчас в лес своротил и хотел, видно, объехать кустами. «Стой, – кричу я, – кто едет?» Не отвечают. «Стой, говорю, и подъезжай ко мне, я – исправник; а не то, говорю, велю пристяжную отстегнуть, нагоним – хуже будет». Выезжает из лесу молодец, лошадь вся в мыле; оказывается, что Николашка, кучер Егора Парменова и любимец его, малой-плутина, учился в часовые мастера – ничему не

⁷ Озадки – дурные последствия, неприятности.

выучился, прислан был по пересылке⁸, и прочее.

– А, – говорю, – Николаша, здравствуй! Куда это путь держишь?

Парень замялся.

– Я так-с... ничего-с... по своим делам.

– Да по каким по своим делам?

– Да, – говорит, – послан-с в деревни.

– Какие тут деревни! Дорога только в Дмитревское.

– В Дмитревское, да-с: я в Дмитревское и послан, – говорит.

– Зачем в Дмитревское?

Опять переминается.

– Послан-с, – говорит.

– Да зачем?

– Нарядить-с, – говорит, – мужиков.

– Ну так, – говорю, – не надобно, не езд: я сам сейчас в Дмитревское еду и наряжу; а ты поезжай домой.

– Нет, – говорит, – сударь, я не смею этого сделать.

– Мне, – говорю, – любезный, все равно, смеешь ли ты, не смеешь ли это сделать, а я тебе приказываю, и делай по-моему: поезжай домой, скажи Егору Парменову от меня, что я тебя не пустил, и прибавь еще, что, покуда я в Дмитревском, он ни тебя и никого другого не посылал бы туда, да и сам бы не ездил.

– Да как же, сударь, – говорит он мне, знаете, с этакою

⁸ ...прислан был по пересылке – по этапу, под стражей.

дерзостью, – по какому же это случаю такое ваше приказание? Я, – говорит, – человек подчиненный: с меня спросят.

– А по такому, – говорю, – случаю, что каприз на меня нашел; а если вы не слушаетесь, так... «Эй, говорю, Пушкарев! – своему, знаете, рассыльному, отставному унтер-офицеру, который все приказания двумя нотами выше исполняет: – Мы теперь, говорю, едем в Дмитревское, и если туда кто-нибудь из новоселковских явится, хоть бы даже сам управитель, так распорядись». Пушкарев мой, знаете, только кекнул и поправил усы.

– Слушаю-с, – говорит, – ваше благородие. – И тут же сейчас, оборотившись к парню, прибавляет: – Не разговаривай, – говорит, – любезный, марш! – Я тоже говорю: «Марш!». Парень мой постоял недолго, почесал голову и поехал в обратную; а мы своей дорогою. В Дмитревское я попал тогда еще в первый раз. Надобно сказать-с, что захолустьев и дичи, по своей службе, много видывал, но этаких печальных мест, как эта деревня, не встречал: стоит в лощине, кругом лес, и не то что этакой хороший лес, а какой-то паршивый: елоха и осина наголо, разве кое-где изредка попадетя сосенка; а сама деревня ничего: обстроена чистенько, и поля распаханы как следует, в порядке. У захолустного, знаете, мужика хоть выгод и меньше, да как-то все спорее. Пословица справедлива-с: выгодно жить на бору да близко к кабаку. Спрашиваю дом Аксиньи кривой. Показывают. Вхожу в избу: сидит старуха с одним глазом и ткет.

– Ты Аксинья?

– Я, батюшка.

– Ну, здравствуй, – говорю; я, – говорю, – приехал к тебе потолковать. Знаешь, кто я?

– Как, кормилец, не знать: кажись, асправник.

– Ну, исправник так исправник, и ладно, коли знаешь. Сегодня я был у вашего прихода и видел твою дочку: что это она у тебя хворает?

– Хворает, – говорит, – родименький, не то чтобы лежем лежала, а временем шибко ухватывает.

– Да что это, отчего с нею?

– Не ведаю, кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.

– Полно, – говорю, – старуха: как ты не ведаешь! Ведь она у тебя сбегала?

– Ну, кормилец, коли известен, так баять нечего: сбегать сбегала. Помилуй, не засади ты ее куда-нибудь у меня, не загуби ты досталь моей головушки, – отвечает она, а сама мне в ноги.

– Ничего я, – говорю, – ей не сделаю, а ты вот что лучше мне скажи: ради чего она у тебя сбегала? Не было ли у ней любовника, не сманивал ли ее кто?

– Ой, родимый, какой у девушки любовник! Никогда, кажись, я ее в этом не замечала. По нашей стороне девушки честные, ты хоть кого спроси, а моя уж подавно: до двадцати годков дожила, не игрывала хорошенько с парнями-то! Вот тоже на праздниках, когда который этак пошутит с ней, так

чем ни попало и свистнет. «Не балуй, говорит, я тебя не за-
маю». Вот она какая у меня была; на это, по-моему, прихо-
дить нечего.

– Пстой, – говорю, – старуха, если ты так говоришь, так
слушай: я приехал к тебе на пользу; дочку твою я вылечу,
только ты говори мне правду, не скрывай ничего, рассказы-
вай сначала: как она у тебя жила, не думала ли ты против
воли замуж ее выдать, что она делала и как себя перед побе-
гом вела, как сбежала и как потом опять к тебе появилась? –
Все подробно с самого начала.

Старуха этак поохала, повздыхала и начала рассказывать.

– Ой, батюшко, – говорит, – поначалу так было дело: по-
сле покойника остались мы в хорошем доме: одних улыков
было сорок – сколько денег выручали, сам сосчитай; да и те-
перь тоже; вестимо, что не против прежнего, а все бога гне-
вить нечего... всего по крестьянству довольно; во вдовстве
правлю полное тягло, без отягощения. Жила она у меня, моя
доченька, не хвастаясь тебе сказать, в холе и довольстве, а
баловать ее не баловала, держала все на глазах. Ну, сам посу-
ди, коим веком одно дитячко нажито, только и свету и радо-
сти, что в ней; к работе нашей крестьянской она с малых лет
была ловкая, легкая: на полосе ли, на жнитве ли, все первая,
против всех впереди идет. Бывало, мне и суседи все смея-
лись. «Ну, говорят, Акси́нья, в себя ты дочку принесла: боль-
но уж вы к работе шустры, недаром у вас денег много». Все
ее, кормилец, ко мне применяли тем, что я и по сей день

работяща – всякое дело у меня в руках проворится. О царица небесная! С надсады-то и говорить разучилась. Стала моя девушка на возраст приходить; ну и женишки тоже были, и много было, но все как-то опасалась. Все имела большое желание выдать ее в дом к одному экономическому мужичку, не тем, чтобы нашу вотчину обегала или порочила, а только то, что сам старик с покойником моим был большой благоприятель и ко мне тоже наезжал. Дружелюбие между нами было старинное. Егор Парменыч, дай бог ему здоровья, не принуждал очень: кто этак намекнет на мою Марфушку, он только скажет: «Устинья, говорит, дочку просят, припасайся». Ну, опосля, известно, сходишь к нему, поклонись чем-нибудь, – ну, и отменит. Так мы, кормилец, и жили до самых тех пор, как завели здесь барскую запашку. Всю нашу деревню Егор Парменыч повестил на заделье. Мое дело одинокое, пошла я к нему. «Кормилец, говорю, Егор Парменыч, как мне прикажешь, не оставишь ли ты меня в оброке? Мужичка у меня в доме нет: кем мне тебе заделье править?» – «Ничего, говорит, старуха, я тебя не обижу; мужика мне с тебя не надо, а пусть заделье правит дочка». – «Кормилец, – говорю я, – где девчонке это справить! Дело ее непривычное, молодое; ты станешь спрашивать многого; ну, как она тебе не угодит, для меня будет нехорошо; а если ты уж так порешился, так лучше я тебе работника выставлю». – «Дура, говорит, ты, баба: работник будет тебе отяготителен, да и мне не к рукам: запашку, говорит, я здесь делаю больше ленную, а со

льном, сама ты знаешь, мужику не возиться; с дочки твоей я лишнего не спрошу: что пороботает, то и ладно». Ублажил он меня, кормилец, этими словами; поперечить ему тоже не посмела. Прихожу домой и говорю Марфушке: «На заделье, говорю, тебя, Марфушка, требует: как ты насчет этого полагаешь?» Она поохотилась. «Ничего, говорит, мамонька, стану бегать; ничего: от нас много девок пойдет». Тем мы с ней и порешили. Начала она у меня ходить. Ну, и сперва заботно было: все я ее спрашивала: «Не тяжело ли, говорю, голубонька, тебе там?» – «Нет, мамонька, какое тяжело! На эком народе тяжело! Дома в одиночку больше умаешься». А у меня, кормилец, все как-то сердце болело; с половины, кажись, лета, али с Успенков, стала я примечать, что с моей девкой что-то не то: все словно в задумке, из себя тоже худеет. Начала я опять ей говорить: «Полно, говорю, дурочка, не замай, говорю, работницу найму; где тебе заделье вести! Ишь ты какая стала! Такая ли ты была у меня прежде?» Так осерчается, кормилец. «Что я, говорит, дворянка, что ли? Денег-то у тебя, что ли, много: с работницами проклажаться!» Выждала я еще недели с две; вижу, что ничего к лучшему нет. Придет с барщины и прямо в темный чулан ляжет: на своей работе синя пороха не переложит, – все лежит. Ну, я тоже спрашиваю: «Что ты, девонька?» – «Так, мамонька, что-то не по себе», – только один ответ и был, а как придут барские дни, слова мне не скажет, соберется и уйдет прежде всех. Стало у меня сердце еще пуще болеть, чего ни передумала; тоже,

как и твое дело, кормилец, сперва намекала, нет ли у ней чего на сердце, не мужчинка ли ее какой приманивает: девушка, думаю, на возрасте, там же всяк час наезжают дворовые ребята, народ озорник, прямо те сказать, девушки; сама своими глазами, думаю, ничего не вижу, а других, хоть бы и суседей, спросить об этаком деле стыдно. Взяла я, кормилец, не сказав ей ничего, прямо пошла к Егору Парменычу. «Так и так, говорю, Егор Парменыч, я не молодая молодка: одной мне при доме справляться спина трещит, заделье я те справлю наймом, а дочку ты освободи мне». Он вдруг, сударь мой, осерчал. «Вы-ста, говорит, шельмы этакие, только знаете, что от барского дела отваливаетесь». – «Я, говорю, сударь, от барского дела не отваливаюсь и, как прежде сказала, хошь работника за девку выставлю, а ей, вся твоя воля, задельничать не приходится». – «Ну, да как же, говорит, много-ста будет, как стану я каждую дуру тешить! Пошла-ста вон и не надоедай мне, коли своей пользы не понимаешь!» Я нейду: стою в своем. Он, кормилец, затопал, затопал надо мной, пена у рту; у меня так сердечушко и замерло: того и гляжу, что прибьет; раза три замахивался, а уж брани да руганья и числа нет, сколько было, едва из хлигера жива вышла... Иду по усадьбе да горячьими слезами обливаюсь; вдруг мне навстречу его супружница с маленьким сыном, разряженная этакая, расфранченная.

– Здравствуй, – говорит, – голубушка! О чем ты это плачешь?

– Так и так, – говорю, – сударыня, – и рассказала ей все мое горе.

– Ах, боже мой, – говорит, – для чего же Егорушка, – говорит, – не хочет тебе сделать в этом удовольствия! Он что-нибудь тебя не понял. Я, – говорит, – ему поговорю об этом.

Я ей поклонилась.

– Противности, – говорю, – сударыня, от меня никогда никакой не было, а что всякой матери, хоть бы и крестьянке, свое дитячко болезно. Если, говорю, Егор Парменыч станет ее у меня в заделье тянуть и не ослободит ее, так я, говорю, пойду к асправнику: вся его воля, что хочет, то со мною и делает.

– Ничего, – говорит, – душечка, не будет; будь покойна, я твое дело сделаю, – сказала она и ушла.

А я, признаться, взяла и пообождала маненько в усадьбе, в скотной, и слышала там, от горничной девушки, что у них за меня большой разговор был. Она, голубушка, дай ей бог здоровья, так его, слышь, ругала, так ругала, всем выкорила и в глаза наплевала. Прихожу я опосля этого домой и говорю дочке. Она мне, батюшка, опять всупротивку стала говорить. Душенька-то у меня уж наболела и без того; взяла меня на ее такая злость, что не стерпела я, кормилец, ухватила ее и почала бить, всю избу вытаскала за космы; чем она пуще просит: «Мамонька, мамонька!», а меня пуще досада рвет, ругаю ее по-пески и все, знаешь, к нечистому посылаю. Ревет моя девка после этого ровно два дни; стало мне ее хошь бы и

жаль: сбегала я потихоньку к приходу, купила ей тут у одного мужичка-торговца кумачу на рубаху и принесла; она ничего – взяла и словно повеселела, а в сумерки и говорит мне:

– Отпусти, – говорит, – мамонька, меня на поседки сходить к дяде Фоме.

– Ступай, – говорю, – только не засиживайся долго.

– Нету, – говорит, – ненадолго сбегая.

Нарядилась она в наряд хороший, надела теплый полушубочек и ушла. Жду я ее: пропели первые петухи – нейдет, пропели вторые – нет!

«Эка вор-девка: верно, там ночевать осталась», – думала я и пошла, кормилец, сама за ней.

Подхожу, смотрю – на поседках уж и огонь погашен; едва достучалась: отворяет мне дверь девушка ихняя, дочь хозяйская.

– Что тебе, тетонька? – говорит.

– Да я, – говорю, – за Марфуткой пришла; что это, – я говорю, – за ночевка такая? Зачем это ночевать унимаете?

– Нету, – говорит, – тетонька, она ушла.

– Полно, что за шутки такие: ушла! Где ей, – говорю, – быть! Домой не бывала, а ушла!

– Вот те Христос, тетонька, ушла, – говорит.

«Ну, – думаю, – согрешила грешная!..» – Разбойница этакая, – говорю, – кто у вас сегодня был? Не было ли дворовых ребят?

– Нету, – говорит, – тетонька, никого не бывало: только

две девушки да твоя Марфа – только и было.

Разбудила я стариков, потолковали мы с ними, погоревали, поохали, не знаем, что такое; обежала я все другие избы по деревне – нет нигде, нигде и не бывала. Протосковала я всю ноченьку, а на другой день, делать неча, пошла в усадьбу к управителю, заявила ему.

– Как бы, батюшка Егор Парменыч, хоть бы ее поискать, – говорю.

– Где-ста мне ее тебе искать! Много вас у меня! Ищи сама, как знаешь.

И говорить больше не стал.

Так, кормилец, опосля того пропала да пропала. Все-то ноженьки отбегала, ищучи ее и по селам и по деревням, все леса, почесть, выходила – ни слуху ни духу ниотколе нет; так и положила, что сделала над собой что-нибудь! Теперь вот дело прошлое, в те поры никому не открывалась, а на сердце все держала, что это от побои моих и побранки с ней приключилось. Прошло таким делом времени много; от тоски да от маяты стала и сама еле ноги таскать... Взяла я себе для охоты сироту-девушку: сидим мы с ней вечером; я на голбчике лежу, а она прядет. Слышу я, кормилец, в сенях что-то стукнуло, словно кольцом кто брякнул.

– Кто это, – говорю, – Палагеюшка, выдь-ка, глянь: ровно случится кто.

– Это, – говорит, – баунька, овцы!

– Полно, – говорю, – какие овцы! Выдь, погляди: не съе-

дят.

Засветила она лучину, пошла и опять вбежала сейчас в избу.

– Баунька, – говорит, – у нас кто-то в сенях лежит.

– Так ты бы, – говорю, – окликала.

– Нет, баунька, я боюсь.

Слезла с голбца, пошла сама: глянь, моя Марфушка лежит плашмя поперек сеней. Заголосила я, завопила, бросилась к ней, притащила ее в избу, посадила, стала спрашивать – ничего не бает, только руками показывает, что молвы нет. Я было ей, чтобы поужинала: молочка было налила, яишенку сделала, – только головкой мотает, а самое так и бьет, как на пруте. Уложила я ее, родимый, на печку, укутала еще сверху и всю ночь над ней просидела. Похудела, голубушка, так, что и не глядел бы! Ну, думаю, воля божия; были бы кости, а мясо будет; хоша, по милости божией, жива осталась!.. На другой день спроведали наши мужики, стали ко мне находить, спрашивают и говорят мне так:

– Ты, – говорят, – Аксинья, девку не балуй, а накажи ее миром, чтобы другим повадки не было.

– Ну-ка, кормилец, каково мне было слушать эти их речи!

– Братцы-мужички, – говорю я им, – против мира я не спорщица и не потатчица моей дочке, кабы она была здорова, и кабы я доподлинно знала, что она худое что сделала.

Вдруг наезжает сам Егор Парменыч. Узнал он мое дело и говорит:

– Пальцем, – говорит, – не смейте девку трогать, она ни в чем не виновата; а насчет молвы тоже не принуждайте: она, – говорит, – и по лицу видно, что языка лишилась.

Я его слушаю, а сама с собою думаю: как, думаю, насчет молвы не принуждать! И начала ее возить к знахарям, по лекарям, служила над ней молебны, а сама все приступаю к ней:

– Полно, – говорю, – дурочка, попринудь себя, пробай что-нибудь.

От этого ли, кормилец, али от чего другого, вдруг она проговорила: есть попросила! Я всплеснула руками и начала богу молиться; она тоже зарыдала, и, господи! как зарыдала, и начала поговаривать, немного да немного, а потом и все, как прежде бывало. Обождав сутки двои, стала я ее спрашивать:

– Скажи, – я говорю, – Марфушка, что с тобою делалось и где ты была?

– А вот что, – говорит, – мамонька, скажу я тебе правду-истину: меня, – говорит, – леший таскал.

Я так и обомлела: наше место свято, тоже от старины идет слух про это, не в первый раз он это в околотке делает: девок таскивал; одна так никак совсем так и пропала; только то, что на нашей памяти не чуть было этого. И пришла мне, кормилец, на разум опять моя побранка, как я тогда грешным делом, всердцах-то, все к нему посылала. Это хоть бы и с другими приключалось тоже от маткиных нехороших слов; а мы, дуры-бабы, будто по-опасимся? Не то, что взрослых,

а и младенцев почаству: «Черт бы тя побрал, леший бы тя взял»; хороших слов говорить не умеем, а эти поговорки все на языке.

– Как это, – говорю, – голубушка, он тебя утащил?

– А так, – говорит, – мамонька; шла я с беседок, вдруг на меня словно вихорь набежал, подхватил как на руки, перекреститься я не успела, он и понес меня, нес... нес – все дичью.

– Что же, – говорю, – девонька, ты там-то делала, где жила, что пила, ела?

– Не спрашивай, – говорит, – мамонька, меня про это: против этого мне сделан большой запрет. Пила и ела я там хорошо, а если хоша еще одно слово тебе скажу больше того, что я те баяла, так тем же часом должна моя жизнь покончиться.

Не стала я ее, батюшка, больно принуждать: може, думаю, и правда.

– Как же, – говорю я, – ты домой-то попала?

– Тем же, – говорит, – мамонька, вихрем; принесли да бросили в сени, – а тут что было, не помню.

Только то мне, кормилец, и сказала; до сегодня больше ничего от нее добиться не могу, вижу только, что всякий час в тоске: работы али пици и не спрашивай!

Выслушал я, знаете, старуху.

– Давно ли же, – говорю, – с нею припадки начались делаться?

– Припадки с ней, батюшка, начались делаться с первого же воскресенья. Пошла с нею к обедне, тут ее впервые и ухватило: хлястянулась на пол и начала выкликать.

Надобно сказать, что при всем этом нашем разговоре присутствовал и дурак мой Пушкарев; выслушав старуху, он вдруг вздумал власть свою полицейскую и удаль свою военную перед ней показывать.

– Ну, – говорит, – бабушка, мы дочку твою полечим; у нас отличное от этого есть лекарство: березовая лапша.

Старуха так и заревела.

Я стал ее унимать, а он, болван, продолжает свое.

– Где же, – говорит, – у вас этот леший? Сказывай! Я его за ворот притащу и тысячу палок дам, так скажет, кто такой и какого звания.

– Это, сударь, как сказать, – замечает ему Аксинья, – ну как, – говорит, – не притащишь?

– Притащим, не беспокойся, – отвечает тот, – у нас, – говорит, – ваше благородие, – обращается ко мне, – в полку один солдат тоже стал колдуном прикидываться. Стояли мы тогда по деревням. Он поймает в лесу корову, намажет ей язык мылом, та и ну метаться, как благая: прибежит на двор, язык шероховатый, слюны много, валом-валит пена. А бабы: «Ах, ах! Телонька! Что сделалось с телонькой?..» А он тут и прикатит. «Что, говорит, голубушки, на дворе, что ли, у вас не здорово? Дай-ка я, говорит, попользую». – «Попользуй, кормилец, попользуй, поилец». Он сдерет с них рублей пять,

промоет язык щелоком и вылечил корову! Вот ведь ихние колдуны какие! И леший здешний какой-нибудь из этаких.

– Не знаю, служивый, как у вас было, – продолжает возражать старуха, – а здесь не то; вы, може, сегодня ночуете, так сам послушаешь, голосит кажинную почесть ночь, индо на двор боязно выйти.

– Да ведь это, тетка, – говорю я, – филин птица.

– Баяли, кормилец, многие это нам бают, а только нет, родимый, не птица; филинов у нас мальчишки лавливали, с полгода один жил, никакого голосу не дал, а уж этот против птицы ли, на весь околоток чуть, как голосит.

– Что станешь делать, не переуверишь их!

– Ну, – говорю, – старуха, много ты говорила дела, да много и вздору намолочила; пошли-ка лучше ко мне дочку: я с ней поговорю; авось она мне больше правды скажет. Сможет ли она прийти?

– Сможет, кормилец, для-ча не смочь: пролежалась теперь.

– Пошли, – говорю, – ее ко мне, а сама не приходи: мы с ней побеседуем вдвоем.

Пушкареву тоже велел выйти. Пришла ко мне девка-с; оглядел ее внимательно: приятная из лица, глаза голубые, навкате, сама белая и, что удивительно, с малолетства в работе, а руки нежные, как у барыни.

– Здравствуй, – говорю, – красавица.

– Здравствуйте, – говорит, – сударь.

– Садись, – говорю, – чем стоять.

– Ничего-с, – говорит, – постою.

– Полно, – говорю, – ведь ты больна: устанешь; садись!

Села она этак поодаль, поглядывает на меня исподлобья.

– Чем это ты, – говорю, – больна? Что такое с тобой бывает?

– А бывает, сударь, привалит у сердца, в голове сделается этакой бахмур, в глазах потемнеет, а опосля и сама ничего не помню-с.

– Отчего это с тобой сделалось?

– Изволили, чай, слышать, – отвечает, а сама еще более потупилась.

– Это, – говорю, – что леший-то тебя таскал?

– Да-с, – говорит, – с самой с той поры и начало хватывать.

– Слушай, – говорю, – Марфушка, ты, я вижу, девушка умная, скажи мне, как, по-твоему, лгать грех али нет?

– Как, сударь, не грех! Вестимо, что грех.

– Так как же, – говорю, – знать ты это знаешь, а сама лжешь, и не в пустяках каких-нибудь, а призываешь на себя нечистую силу. Ты не шути этим: греха этого тебе, может быть, и не отмолить. Все, что ты матери плела на лешего, как он тебя вихрем воровал и как после подкинул, – все это ты выдумала, ничего этого не бывало, а если и сманивал тебя, так какой-нибудь человек, и тебе не след его прикрывать.

– Ничего я, сударь, окромя, что мамоньке говорила, ниче-

го я не знаю больше! – А у самой, знаете, слезы так и текут.

Бился я с ней по крайней мере с полчаса: все думал лаской взять.

– Будь, – говорю, – Марфушка, со мной откровенна; вот тебе клятва моя, я старик, имею сам детей, на ветер слов говорить не стану: скажи мне только правду, я твой стыд девичий поберегу, даже матери твоей не скажу ничего, а посоветую хорошее и дам тебе лекарства.

Ничего не берет, уперлася в одном: «Знать не знаю, ведать ничего не ведаю», так что даже рассердила меня.

– Ну, – говорю, – Марфа, ты, я вижу, не боишься божьего суда, так побойся моего: я твое дело стороной раскрою, тогда уж не пеняй.

Молчит.

Отпустил я ее; досадно немного: солнце уже садилось, день, значит, потерян. Ехать – пожалуй, и дороги не найдешь. Остался я у Устиньи ночевать, напился чаю и только хотел улечься в свой тарантас, – вдруг подходит Пушкарев.

– Ваше благородие, леший, – говорит, – заправду начал кричать; не угодно ли послушать?

Заинтересовало это меня: слышал я об этих леших, – слышал много, а на опыте сам не имел. Вышел я из своего логовища к калитке, и точно-с, на удивление: гул такой, что я бы не поверил, если бы не своими ушами слышал: то ржет, например, как трехгодовалый жеребенок, то вдруг захохочет, как человек, то перекликаться, аукаться начнет, потом в ла-

доши захлопает, а по заре, знаете, так во все стороны и раздается.

Храбрец мой Пушкарев стоит только да бормочет про себя: «Эка поганая сторонка!» Да и со мной, воображение, что ли, играет: сам очень хорошо понимаю, что это птица какая-нибудь, а между тем мороз по коже пробегает. Послушал я эту музыку, но так как день-то деньской, знаете, утомился, лег опять и сейчас же заснул богатырским сном. На другой день проснулся часу в девятом, кличу Пушкарева, чтоб велеть лошадей закладывать. Является он ко мне.

– Ваше благородие, – говорит, – у нас неблагополучно.

– Что такое?

– Девка-то опять пропала!

– Как, – говорю, – пропала! Земская, – говорю, – полиция, мы с тобой здесь, а она пропала: ты чего смотрел?

– Я, ваше благородие, – говорит, – всю ночь не спал, до самой почести зари пес этот гагайкал: до сна ли тут! Всю ночь, – говорит, – сидел на сеновале и трубку курил, ничего не слышал.

Иду я на улицу-с; мужиков, баб толпа, толкуют промеж собой и приходят по-прежнему на лешего; Аксинья мечется, как полоумная, по деревне, все ищет, знаете. Сделалось мне на этого лешего не в шутку досадно: это уж значит из-под носу у исправника украсть. Сделал я тут же по всей деревне обыск, разослал по всем дорогам гонцов – ничего нету; еду в Марково: там тоже обыск. Егор Парменыч дома, юлит передо

мною.

– Что такое, – говорит, – значит? Что такое случилось?

Я ему ни слова не говорю, перебил все до синя пороха, однако чего искал, не нашел.

«Ну, думаю, за это дело надобно приниматься другим манером».

Был у меня тогда в Михайловской сотне сотский, прерасторопный мужик: лет пятнадцать в службе, знаете, понаторел, и кроме того, если в каком деле порастолкуешь да припугнешь немного, так и не обманет. Приехав в город, вызываю я его к себе.

– Слушай, – говорю, – Калистрат: в Погореловской волости мост теперь строят натурой: ты командируешься приглядывать туда за работами, – это дело тебе само по себе; а другое: там, из Дмитревского, девка пропадает во второй уж раз, и приходят, что будто бы ее леший ворует. Это, братец, пустяки!

– Пустяки-с, – говорит, – сударь, без сомнения, что пустяки.

– Ну, стало быть, ты это понимаешь, и потому, быв там, не зевай и расспрашивай, кого знаешь, что и как. Если слух будет, сейчас же накрой ее и ко мне представь. Сверх того, в этом деле Егор Парменыч что-то плутует, держи его покуда на глазах и узнавай, где он и что делает. Одним словом, или сыщи мне девку, или по крайней мере обтопчи ее след и проведай, как и отчего и с кем она бежала. Сам я тоже буду

узнавать, и если что помимо тебя дойдет до меня, значит ты плутуешь; а за плутни сам знаешь, что бывает.

– Понимаем, сударь, – говорит, – не первый год при вас служим; только как донесение прикажете делать?

– Донесение, – говорю, – если что важное откроешь, так сейчас же, а если нет, то как кончится работа, тут и донесешь.

– Слушаю-с, – говорит он и отправился.

Жду неделю, жду другую – ничего нет; между тем выехал в уезд и прямо во второй стан⁹. Определили тогда мне молодого станового пристава: он и сам позашалился и дела позапутал; надобно было ему пару поддать; приезжаю, начинаю свое дело делать, вдруг тот же Пушкарев приходит ко мне с веселым лицом.

– Ваше благородие, дмитревская, говорит, девка, что сбежала, явилась.

– А, – говорю, – доброе дело! Где ты узнал это?

– Матка пришла сюда с ней в стан: к вам просятся!

– Давай их сюда!

Обрадовался, знаете. Входит ко мне Аксинья, покуда одна.

– Здорово, старуха!

– Здравствуйте, кормилец!

– Что, дочку нашла?

⁹ Стан – административно-полицейское подразделение уезда; село, являвшееся местопребыванием станового пристава.

– Нашла, родимый!

– Каким манером? Опять леший подкинул?

– Какое, ваше высокоблагородие, леший! Дело совсем другое выходит. На вас только теперь и надежда осталась: не оставьте хоша вы нас, сирот, вашей милостью.

– Идет, – говорю, – только ты много не разглагольствуй, а говори прямо дело.

– Нет, сударь, може, вы мне и не поверите; оспросите ее самое; она сама собой должна заявить; я ее нарочно привела.

– Ладно, – говорю, – позовите девку.

Входит, худая этакая, изнуренная.

– Ну, девица красная, очень рад тебя видеть; сказывай, где ты это пропадала: только смотри, не лги, говори правду.

– Нет, сударь, – говорит, – пошто лгать! Не для ча мне теперь лгать: ни себя ни других не покрою.

– Конечно, – говорю, – рассказывай, кто тебя сманил? И где ты была во второй и в первый раз?

– В первой, – говорит, – раз, сударь, жила я на чердаке в господском доме, в Маркове, а второй проживала у погорельского лесника.

– Как, – говорю, – в господском доме? Как ты туда попала? Молчит.

– Из дворовых ребят, что ли, тебя кто заташил туда?

Потупилась, знаете, этак покраснела.

– Никак нету-тка-с, – говорит.

– Так не сама же ты туда зашла! Зачем и для чего?

– Где, сударь, самой! Не сама.

– Так кто же? Говори, наконец!

Молчит.

– Что ж молчишь? – вмешалась мать. – Сама, – говорит, – пожелала господину исправнику заявить, а теперь не баешь. Бай ему все. Егор, сударь, Парменыч, управитель наш, загубил ее девичий век. Рассказывай, воровка, как дело-то было; что притихла?

– Рассказывай, – говорю, – Марфуша: здесь только мать твоя да я; оба тебе добра желаем. Егор Парменыч, что ли, тебя сманил?

Еще пуще моя девка покраснела и потупилась в самую землю.

– Он-с! – говорит со вздохом.

– Для чего же это, – я говорю, – он тебя сманивал? Пригуляла, что ли, ты с ним?

Опять молчит. Я посмотрел на матку: та стоит пригорюнившись и на мои слова кивнула мне головой и прямо говорит:

– Пригуляла, кормилец, – таить перед тобой нечего, пригуляла, страмовщица этакая! Кабы не мое материнское сердце, изорвала бы ее в куски... Девка пес – больше ничего, губительница своя и моя!.. То мне, кормилец, горько, в кого она, варварка, родилась, у кого брала эти примеры да науки!

Девка в слезы, а старуха и пошла трезвонить. Мать-с, обидно и больно, как дети худо что делают. Я сам отец: по

себе сужу; только, откровенно вам сказать, в этот раз стало мне больше дочку жаль. Вижу, что у ней слезы горькие, непритворные.

– Перестань, – говорю, – сбрех: старого не воротишь; девке не легче твоего. Не слушай, – говорю, – Марфуша, матери, разговаривай со мной: полюбила, что ли, ты его?

– Да, сударь.

– Очень любила?

– Очень, сударь, большое пристрастие мое к нему было.

– Как же, – говорю, – ты такая хорошенькая – и влюбилась в такую скверную рожу? Деньгами, что ли, он тебя соблазнил?

– Нету-тка, судырь! Дело мое девичье: пошто мне деньги! На деньги бы я николи не пошла, если бы не пристрастка моя к нему.

Я только, знаете, пожал плечами, – вот, думаю, по пословице, понравится сатана лучше ясного сокола, и, главное, мне хотелось узнать, как у них все это шло, да и фактами желал заpastись, чтоб уж Егорку цапнуть ловчее. Стал я ее дальше расспрашивать – только тупится.

– Что же ты, – говорит ей мать опять, – коли дело делали, так рассказывай!

– Ничего, – говорит, – мамонька, не стану я говорить: как, – говорит, – мне про мою стыдобушку самой баять? Ничего я не скажу, – а сама, знаете, опять навзрыд зарыдала.

Никогда, сударь мой, во всю мою жизнь, во всю мою по-

лицейскую службу, таких слез не видывал. Имел я дело с ворами, мошенниками настоящими, и многие из них передо мной раскаивались; но этакого, знаете, стыда и душевного раскаяния, как у этой девки, не встречал: вообразить, например, она себе не может свой проступок, и это по-моему, признак очень хороший. Я вот и по делам замечал: которого этак начнешь расспрашивать, стыдить, а ему ничего, только и говорит: «Моя душа в грехе, моя и в ответе», – тут уж добра не жди, значит, человек потерянный; а эта девушка, вижу, не из таких. Больше ее расспрашивать мне даже стало жаль.

– Ну, – говорю, – Марфушка, коли не можешь, так и не говори, – и велел, знаете, выйти ей в сени – будто освежиться от слез, – а Аксинье мигнул, чтобы приосталась.

– Что, – говорю, – старуха, хоть ты не знаешь ли, что у них было?

– Выпытывала я, кормилец, из нее: баяла она мне много; не знаю, все ли правда!

– Как и когда и каким это манером, – говорю, – он ее соблазнил?

– Вот видишь, – говорит, – он и наперед того, на праздниках там, али бо-што, часто ко мне наезжал, иной раз ночку и две ночует; я вот, хоть убей на месте, ничего в заметку не брала, а он, слышь, по ее речам, и в те поры еще большие ласки ей делал.

– А тут, – говорю, – на барщину потребовали?

– Ну да, родимый, тут барщина эта подошла: свидания у

них стали частые. Он ее, слышь, кормилец, все в одиночку на работу посылал, то в саду заставит полоть, либо пшеницу там обшастать, баню истопить, белье вымыть, а сам все к ней заходит, будто надсматривать; хозяйка его тем летом прытко хворала, и он будто такое имел намеренье: «Как, говорит, супружница моя жизнь покончит, так, говорит, Марфушка, я на тебе женюсь; барин мне невестою не постоит: кого хочу, того и беру». Сам знаешь, хитрый человек: хошь кого на словах уговорит да умаслит, а она что еще? Теперь-то разума немного, а в те поры и подавно... Не была бы она у меня, кормилец, такая, кабы не этот человек! Не в кого быть такой, – хоть бы про себя самое мне сказать: смолода была сердцем любчива, а чтобы насчет худого, нет у нас таких в роду.

– Это так, – говорю, – старуха, про это и толковать нечего, только мне хочется знать, зачем он ее увозил и как он это сделал.

– Увез он ее, кормилец, одно дело то, что я от заделя ее отвела, пошугала тоже маненько: видит, на моих глазах ему делать нечего больше было; а другое: не знаю, може, ее слова справедливы, а може, и нет, она мне баяла, что до самого сбega ее промеж их была одна сухая любовь... Пучеглазый его Николашка кучер с самой весны живмя жил в нашей деревне: все, знаешь, за охотой ходил; места, вишь, у нас больно хороши для охоты. Через него он ей весточку и дал, чтобы вечером к ним на ободворки вышла. С поседок-то она, кор-

милец, к ним и прибежала, а они, сударик, ее будто от холода и уговорили выпить целый стакан винища, – крепкого винища. . . Девке непривычной много ли надо: сразу обеспамятела! Что у них тут было, не знаю; волей али неволей, только усадили они ее в сани да в усадьбу и увезли, и сначала он ее, кормилец, поселил в барском кабинете, а тут, со страху, что ли, какого али так, перевел ее на чердак, и стала она словно арестантка какая: что хотел, то и делал: а у ней самой, кормилец, охоты к этому не было: с первых дней она в тоску впала и все ему говорила: «Экое, говорит, Егор Парменыч, ты надо мною дело сделал; отпусти ты меня к мамоньке; не май ты ни ее, ни меня». Он обещал ей кажинный раз и все обманывал; напоследок она ему говорит: «Если ты меня из моей заперти не выпустишь, так я, говорит, либо в окошко прыгну, либо что над собой сделаю». Этих слов он, кормилец, поопасился: «Хорошо, говорит, Марфушка, я тебя к матери привезу; только ты ничего не рассказывай, а притворись лучше немой, а если, паче чаяния, какова пора не мера, станут к тебе шибко приступать или сама собой проговоришь как-нибудь, так скажи, говорит, что тебя леший воровал, вихрем унес, а что там было, ты ничего не помнишь. Кто бы тебя, говорит, ни стал спрашивать, хоша я сам али какой чиновник, не сговаривай: стой в одном, а не то будет хуже: сама пропадешь да и мне не уйти». Дальше, кормилец, что было, сам знаешь. Послушаться она его точно послушалась, только сердцем начала больно тосковать, а с тоски этой, вестимо, и припадки

стали приключаться; в церковь божью сходить хочется, а выстоять не может «Много раз, говорит, мамонька, сбиралась тебе всю правду открыть, только больно стыдно было».

– По какому же черту, – спрашиваю я, – она опять с ним убежала?

– Тоже не своей волей: в те поры, как ты к нам наехал и начал разведывать, он той же ночью влез к ней в чуланчик, в слуховое окно, и почал ее пугать: так и так, говорит, Марфушка, за тобой, говорит, наехал исправник, и он ты завтра посадит в кандалы и пошлет в Сибирь на поселенье, а коли хочешь спастись, сбеги опять со мной: я, говорит, спрячу тебя в такое потаенное место, что никто николи тебя не отыщет. От страха да от глупости опять пошла по его стопам. Посадил он ее этим разом к леснику в сторожку. Напала на нее пуще того тоска несветимая, две недели только и знала, что исходила слезами; отпускать он ее никак не отпускал, приставил за нею караул крепкий, и как уж она это спроводела, не знаю, только ночью от них, кормилец, тайком сбежала и блудилась по лесу, не пимши, не емши, двое суток, вышла ан ли к Николе-на-Гриву, верст за тридцать от нашей деревни. Спасибо, что знакомый мужичок довез. Словно полоумная пришла, повалилась мне в ноги и все открыла, что те баяла. Как хошь, кормилец, верь или не верь, а я словечка не прибавлю.

– Верю, – говорю, – и даю тебе честное слово, что я с вашим губителем, Егором Парменовым, распоряджусь отлично:

я давно до него добираюсь!

– Нет, кормилец, – отвечает мне старуха, – я не то, что к тебе с жалобой, али там, чтобы ему худо чрез нас было; говорить неча: сама дура-девка виновата, – не оправляю я ее! Ты только тем, родимый, заступись, чтоб он нас прижимать шибко не стал.

Между тем, знаете, является и сотский, которого я командировал, и таким манером я, чтобы и его испытать да и матку с дочкою поверить, их сейчас в особую комнату, а его к себе.

– Что, – говорю, – братец, скажешь хорошенького?

– Дмитревская девка, – говорит, – ваше благородие, нашлась, сама пришла к матери.

– Где же это она была и пропадала? – спрашиваю я, будто сам, знаете, ничего еще не знаю.

– Была-с невдалеке: по лесу шлялась, с управителем прибаловала. Он ей сам и пристанодержательствовал в тот и этот раз.

– Полно, – говорю, – братец, не может быть.

– Верно, ваше благородие: он на эти дела преловкий; это не первая-с.

– Не первая, – говорю, – значит, он ходок?

– Ходок-с. Я по вашему приказу обтоптал все его следы, – отвечает мне сотский и начал, знаете, насчитывать: – и в Маркове – Палагея да Марья, и в Варгунихе – солдатка Фекла, и на мельнице – мельничиха, и так далее.

– Что же, – говорю, – жена-то его: чего смотрит?

– До жены не доводят, а коли где сама что заметит, потачки не даст: строго спросит.

Я только плюнул. Делай он это, каналья, где-нибудь в бойких местах – черт его дери! А тут, знаете, народ нравственный в этом отношении: он эту моду завел, а с его примера, пожалуй, и другие начнут. Однако ж, чтоб на словах сотского не раскусить пустышки, под разными предлогами объехал я все эти показанные места, ласками да шуточками повыспросил, что мне нужно было: оказалось, что все правда, и только что потом я вернулся в стан, вдруг докладывают, что Егор Парменов приехал и желает меня видеть. Милости, говорю, просим. Входит, расшаркивается.

– Здравствуйте, – говорю, – молодой человек! Как ваши дела и обстоятельства?

– Да что, – говорит, – сударь, дела мои плохие: я так и так наслышан, что меня оговаривает беглая дмитревская девка, аки бы я сам ее сманивал и там будто бы прочее другое.

– Да, – говорю, – Егор Парменыч, есть такое дельце.

– Сделайте милость, батюшка, – говорит, – я, – говорит, – приехал просить вашего снисхождения. Позвольте мне против этого иметь свое оправдание: это все делается не что иное, как по злобе против меня; на первый раз точно-с: как эта девка сбежала, я, по молодости ее лет, заступился даже за нее перед вотчиной, но ей и матери сказал так, что если будет в другой раз, так не помилую. Она этому не вняла: сделала еще раз, а теперь, чтобы иметь увертку, чего лучше –

свали на меня, да и баста. Если она говорит, что я ее сма- нивал, – один я этого сделать не мог; не в кармане же мне было ее держать! Пусть она покажет, кто ее, по моему при- казу, держал, да тех людей и спросить: что они скажут, то- гда и раскроется, кто прав и кто виноват. Про самое старуху всякий вам скажет: маята моя изо всей вотчины, хуже вся- кого потерянного мужика, – хитрая, злобная, грубая; а дочка тоже-с, яблоко от дерева недалеко падает, с двенадцати лет пошла, может быть, на все четыре стороны. Коли уж после этого эдаким людям станут веру давать, так лучше не жить на белом свете.

Слушаю я его и едва только себя сдерживаю: значит, у че- ловека совесть потеряна, лжет нагло и хоть бы в одном слове заикнулся, – как по-писанному катает.

– Что же, – говорю, – Егор Парменыч, так уж очень эту девушку ты порочишь? Какая-нибудь Палагея марковская, солдатка Фекла из Варгунихи или там мельничиха не лучше ее.

Он немного сконфузился, но на секунду-с, и опять как ни в чем не бывало.

– Я ее, сударь, – говорит, – не порочу против других: она или другие прочие, все мне равны.

– Полно, – говорю, – Егор Парменов, петли мешать, фиг- ли-мигли выкидывать: я вашей братьи говорунов через свои руки тысячи пропустил! По слову разберу, что солгал и что правду сказал. Тебе меня не обмануть: я все знаю.

– Я, сударь, – заюлил он, – не ради обмана, а только припадаю к вашим стопам: вотчина начинает против меня строить разные выдумки, заступы я себе ни от кого не вижу, не замарайте меня, маленького человека, навеки пред господином, а за добродетель вашу я благодарность чувствовать могу, хоть бы из денег, что ли, али вещами какими не потягосью, а еще за благодеяние сочту.

Я усмехнулся, и вздумалось мне, знаете, с ним, мошенником, маленькую шутку сыграть.

– Если, – говорю, – Егор Парменыч, ты стал таким манером говорить, так дело, значит, принимает другой оборот; как бы с этого ты начал, так мы, может быть, давно бы все и покончили.

– Не смел-с, сударь, говорить; откровенно вам доложу, человек я от природы робкий, иной раз, не во гнев вам будь сказано, и подступиться к вам не смеешь: с вами говорить не то, что с кем-нибудь – ума вы необыкновенного, а мы люди самых маленьких понятий.

– Это, – говорю, – что! Это присказки; а ты мне говори сказку, как и что будет от тебя?

– Я бы, сударь, – говорит, – спросил вас самих назначение сделать. Вы чиновник не маленький; назначать я вам не могу, а должен только удовлетворить с удовольствием, чего сами потребуете.

– Хорошо, братец, я от этого не прочь, изволь, – говорю я, – только вот видишь что: совести моей до сей поры я еще

не продавал, следовательно мне на первый раз за пустяки ее уступить не следует – десяти целковых не возьму.

– Как возможно-с – десять целковых! Совесть – вещь драгоценная, – возражает он мне.

– Не то, что, – говорю я, – совсем уж драгоценная, а за твое, например, дело можно взять тысконок сто на ассигнации.

Его, знаете, так и попятило: и смеется, и побледнел, и не знает, как понять мои слова.

– Как, сударь, – говорит, – сто тысяч?

– А что же такое! – говорю я.

– Очень много-с, – говорит, – эдаких денег у меня и в руках не бывало, мне и не сосчитать.

– Ничего, – говорю, – вместе сосчитаем; не обочту, не бойся.

– Оно точно-с, только, сударь, помилуйте: сумма-то уже эта ни с чем несообразна.

– Отчего ж несообразна? У тебя, я думаю, в кармане лежит около того, а чего неостанет, я и в долг поверю.

– И сотой части, сударь, около того нет. Шутить надо мной изволите: я не больше того, как в шутку принимаю ваши слова.

– То-то и есть, любезный, – начал уж я ему говорить серьезно, – хорошо, что ты скоро догадался. Неужели же ты думаешь, что я из-за денег стану с тобой заодно плутовать и мошенничать?

И начал ему потом высчитывать вся и все: все ему его добрые деяния представил, как в зеркале; но... как бы вы думали, милостивый государь... у него достало духу от первого до последнего моего слова во всем запереться: по его понятию, правей человека на свете нет! Хоть бы маленькое раскаяние в том, что дурно делал! Толковал, толковал с ним так, что в горле пересохло, наконец, выслал от себя и с первой же почтою написал барину письмо с подробным изложением всех обстоятельств. Что будет на это письмо, не знаю-с, а жду ответа с большим нетерпением.

III

Следствие мы производили около двух недель. Перед самым потом отъездом исправник пришел ко мне с торжествующим лицом.

– Что это, Иван Семеныч, вы сегодня что-то очень веселы? – заметил я ему.

– Да-с, веселенок, – отвечал он. – Сегодня я получил письмо от барина Егора Парменова, которое душевно меня порадовало.

– Какого же содержания? – спросил было я.

– Ну, уж этого я теперь вам не скажу, а вы сами увидите, когда поедем назад через Марково, – сказал он и во всю дорогу, несмотря на мои расспросы, ничего мне не объяснил, а, приехав в Марково, велел собрать сход.

Егор Парменов сейчас явился к нам, бледный, худой, так что я его едва узнал.

– Батюшка Иван Семеныч, – отнесся он прямо к исправнику, – позвольте мне с вами два слова наедине сказать.

– Да зачем же наедине? – возразил ему тот. – Если тебе что нужно, так говори и при господине чиновнике. Секретов у меня с тобою не было, да и быть не может.

– Это дела-с собственные мои, домашние, так как я получил от господина моего письмо, с большими к себе и жене моей выговорами, – за что и про что, не знаю; только и ска-

зано, чтоб я сейчас же исполнил какое от вас будет приказание. Разрешите, сударь, бога ради, как и что такое? Я одним мнением измучился пуще бог знает чего.

– Приказание мое я объявлю тебе на сходке, – отвечал исправник.

– Сходка готова; только мне до сходки желалось бы знать ваше распоряжение, – проговорил Егор Парменов.

– А коли готова, так и пойдем, – сказал исправник и пошел.

Я последовал за ним, Егор Парменов тоже. Проходя мимо флигеля, в котором тот жил, исправник обернулся к нему и сказал:

– Потрудись, Егор Парменыч, зайти и за женою; надобно, чтобы и она там была.

– Да она-то там зачем же нужна-с?

– Да так уж, так надобно.

Егор Парменов пожал плечами, пошел во флигель, но скоро вернулся.

– Нельзя ли, батюшка, жены не требовать: женщина она непривычная, на сходках мужицких не бывала. Сделайте-с такую божескую милость освободите ее, – сказал он.

– Нет, любезный, нельзя, – такое уже дело идет, нельзя, – возразил хладнокровно исправник.

Егор Парменов вздохнул, махнул рукою и пошел опять во флигель.

– Иван Семеныч, не жестоко ли это? – заметил я ему.

– Ничего-с! Она вот услышит и распорядится с супругом лучше всех нас.

Мы вошли в сборную избу, где уж была целая толпа мужиков.

– Здравствуйте, братцы, – сказал исправник.

– Здорово, бачка! Здорово, кормилец! – раздалось со всех сторон.

– Как живете-можете?

– Поманеньку, кормилец! Как твое благополучие?

– Тоже помаленьку: живу да хлеб жую.

– И дай те господи много лет жить да здравствовать, – сказали мужики, все в один голос.

– Спасибо, ребята, – отвечал Иван Семеныч и потом, оглядев толпу, прибавил: – а что, Петр Иванов здесь?

– Здесь, судырь, – отвечал из толпы, выступив немного вперед, как лунь седой старик, который, по своей почтенной наружности, был как отлетный соболев между другими мужиками.

– Ну что, старина, каково твое здоровье? Поправляется ли?

– Нешто, судырь; не против прежнего, а все надо бога благодарить. С нынешнего лета начинаю напольную работу поработывать.

– Это-с, рекомендую вам, – отнесся ко мне исправник, – прежний здешний бурмистр, старик добрый, богомольный, начетник священного писания.

– Благодарствую, что хвалить изволишь, а уж какое наше читанье: в книге видим одно, а делаем другое.

– Больно уж ты тогда барским-то гневом огорчился.

– Что делать-то, судырь, – отвечал старик с грустной улыбкой, – хлибки мы ведь уж очень... что маненько не по нас, сейчас и в ропот, – к мирскому-то большую привязку имеем.

– Ну, а писать-то можешь еще? Не разучился? – спросил исправник.

– Пишу еще; земским я теперь от управителя поставлен: письма-то много.

– Как земским? – спросил Иван Семеныч. – Я этого и не знал. Это, значит, он тебя уж совсем своим подначальным сделал.

– Не знаю, судырь: его дело и его разуменье; только то, что должность эта мне маненько не по летам. Он вон уж и сам в очки смотрит, а я, пожалуй, годов на тридцать постарше его, – отвечал старик.

– А что, братцы, – начал Иван Семеныч после минутного молчания, обращаясь к мужикам, – как вы думаете и желаете, не лучше ли бы было, если бы вами опять начал управлять Петр Иванов, а Егора Парменова в смену?

При этом объявлении старик остался совершенно спокоен; у мужиков на всех почти лицах отразилось удовольствие, и все они переглянулись между собою.

Рыжий мужик, споривший с Егором Парменовым в тот наш проезд, первый заговорил:

– Это бы, ваше высокородие, лучше не надо быть, – в глаза и за глаза скажем. Егору Парменычу против Петра Иваныча не начальствовать.

– Это ты, братец, говоришь один, – возразил исправник, – а что скажет мир; говорите, братцы, все вдруг, как вы думаете?

– А что, бачка, миром те скажем, за Петра Иваныча мы окромя только бога молили, а от Егора Парменыча временем, пожалуй, жутко бывает! – слышалось разом несколько голосов.

– Один в деле, по рассудку, спросит, а другой просто те оказать обидчик: оборвет да облает – вот-те и порядки все, – добавил рыжий мужик.

На эти слова вошел Егор Парменов, вместе с женою своею, которая точно была премодная, собою недурна; оделась она, вероятно, для внушения к себе вящего уважения, в шелковое платье и даже надела шляпку, а в руках держала зонтик; вошла она прямо и довольно дерзко обратилась к исправнику:

– Что такое вам угодно от меня?

– Сейчас, милостивая государыня, – отвечал тот и, став посередине избы, вынул из бокового кармана письмо.

– Это я, – начал он, – читаю письмо вашего господина: «Милостивый государь Иван Семеныч! Приношу вам мою чувствительную благодарность за уведомление о беспутствах моего управителя – Егора Парменова. Оставить его

в настоящей должности я считаю вредным для себя и для имения, и потому покорнейше прошу, по доброте вашей, принять участие и немедленно сделать распоряжение о смене его и о назначении в управляющие более благонадежного, по усмотрению вашему, человека; он же, как обманувший мое доверие, должен поступить зауряд в число дворовых людей».

Егор Парменов, побледневший, как преступник в минуты объявления ему судебного приговора, прислонился только к стене, а жена его зарыдала, – но, впрочем, проговорила:

– Что такое вы писали!.. Мы сами тоже будем господину писать: может быть, будет что-нибудь и другое.

– Пишите, сударыня; и я желаю от души вашему мужу оправдаться, – возразил Иван Семеныч. – Но вместе с тем, чтобы ты меня, Егор Парменыч, впоследствии не обвинил, что я на тебя что-нибудь налгал или выдумал, так вот, братцы-мужички, что я писал к вашему барину, – и затем, вынув из кармана черновое письмо, прочитал его во всеуслышание. В письме этом было написано все, что он мне говорил.

– Солгал ли я, выдумал ли я тут что-нибудь? – заключил он, обращаясь к мужикам.

Управительница взглянула на мужа так, что мне сделалось страшно за него.

– Ничего этого и в помышлениях моих не бывало; я и смолodu этими делами не занимался, а не то что по теперешним моим заботам. Выдумать на человека по злобе можно все! –

возразил было он.

Некоторые из мужиков усмехнулись.

– Ну как, Егор Парменыч, не бывало! – сказал опять рыжий мужик, видно, заклятой в душе враг его. – Доказывать-то на тебя не смели, а може, бывало и больше... где лаской, а где и другим брал...

– Вместо Егора Парменова, – заговорил опять исправник, – я назначаю, по вашему желанию, Петра Иванова. Желаете ли вы?

– Желаем, бачка, все мы того желаем.

– Стало, быть делу так. Ты, Егор Парменов, изволь сдать все счета и отчеты руками, а ты, Петр Иванов, прими аккуратнее; на себя ничего не принимай: сам после отвечать будешь. Прощайте, братцы! Прощай, Егор Парменов! Не пеняй на меня: сама себя раба бьет, коли нечисто жнет, – заключил Иван Семеныч, и мы с ним вышли и тотчас же выехали.

IV

Год спустя пришел ко мне из Кокинского уезда мужичок, предобродушный на лицо и немного пьян, поклонился сначала от исправника и начал просить о своем деле, которого, как водится, не сумел растолковать.

– Да ты чей? – спросил я его.

Он сказал: оказалось, что марковского господина.

– Кто у вас – Петр Иванов нынче управителем? – стал я его расспрашивать.

– Нету, родименькой, – отвечает он, – Петр Иваныч – дай ему бог царство небесное – побывшился¹⁰; теперь не Петр Иваныч – другой.

– Кто же такой?

– Из наших же, бачка, мужичков. Барин ладил было так, что из Питера наслать али там нанять кого, да Иван Семеныч зартачился: вы, говорит, кого хотите там выбирайте, а я, говорит, своего поставлю, – своего и посадил.

– Ну, а прежний, – спросил я, – где управитель, который до Петра Иванова был?

– Прежний-то?

– Да, прежний.

– О... это леший-то... как его по имени-то, пес драл, и

¹⁰ Побывшился – умер.

забыл уж.

– Егор Парменов, – подхватил я.

– Так, так, бачка, Егор Парменов... тут же, при усадьбе, живет.

– Отчего же он леший-то?

– Прозванье уж у нас ему, кормилец, такое идет: до девок, до баб молодых был очень охоч. Вот тоже эдак девушку из Дмитрева от матки на увод увел, а опосля, как отпустил, и велел ей на лешего сговорить. Исправник тогда об этом деле спознал – наехал: ну, так будь же ты, говорит, и сам леший; так, говорит, братцы-мужички, и зовите его лешим. А мы, дураки, тому и рады: с правителей-то его тем времечком сменили – посмелей стало... леший да леший... так лешим и остался.

– Где же теперь эта дмитревская девка?

– При матке, бачка, при матери живет.

– Замуж не вышла?

– Ну где, родимой, где уж? Хошь и мужички, а обегает этого: парнишку тоже принесла; matka ладила было подкинуть, так Марфутка-то не захотела: сама, говорит, выпою и выкормлю. Такая дикая теперь девка стала, слова с народом не промолвит. Все богомольствует... по богомольям ходит.

– Ну, а жена Егора Парменова где?

– При нем, бачка, живет; тоже по нем и ее лешачихой дразнят.

– А ее-то за что же?

– Сердцем-то она уж больно люта, да на руку дерзка; теперь уж воли-то ни над кем нет, так с мужем батальствуют, до того дерутся да лаются, что в избе-то уж места мало: на улицу выбиваются – прямые лешие!..

Примечания

Впервые рассказ напечатан в журнале «Современник» (1853, № 11). Закончен рассказ был 22 августа 1853 года. В дальнейшем текст подвергался авторской правке. Подготавливая издание «Очерков из крестьянского быта», Писемский удалил из произведения длинноты, неоправданные литературные реминисценции. Во второй главе в журнальном тексте было такое рассуждение исправника: «Я только, знаете, пожал плечами, впрочем, тут же вспомнил сочинение Пушкина... вероятно, и вы знаете... «Полтава» – прекрасное сочинение: там тоже молодая девушка влюбилась в старика Мазепу. Когда я еще читал это, так думал: «Правда ли это, не фантазия ли одна, и бывает ли на белом свете?» – А тут и сам на практике вижу. Овладело мной большое любопытство...» В тексте «Очерков из крестьянского быта» эти слова заменены другими, более скупыми, более соответствующими обстоятельствам и характеру рассказчика: «Я только, знаете, пожал плечами, – вот, думаю, по пословице, поправится сатана лучше ясного сокола...»

В текст издания Стелловского Писемский внес исправления, подсказываемые рецензией Чернышевского. В первой главе было такое высказывание исправника: «В суде у меня хорошо-с. На всякое дело, доложу вам, надобно знать сноровку... Я завел такую манеру: недели две, например, езжу

по уезду, сам работаю, станowych понукаю, а тут и в город, да и в суд; дня в три, в четыре обревизую все. Хорошо, так и спасибо, а нет, так и распеканье: товарищам замечу, а приказную братью эту запру в суде, да и не выпускаю до тех пор, пока не приведут всего в порядок. И поняли, что оттягивать нечего: рано ли, поздно ли, сделать придется. Главное, объясню вам, чтобы сам начальник не зевал, а подчиненных заставить делать можно-с!» Чернышевский отозвался не без иронии о деятельности кокинского исправника в земском суде, и Писемский заменил это место другим, противоположным по смыслу рассуждением.

В конце третьей главы автор высказывал сострадание разжалованному Егору Парменову: «Два совершенно противоположные чувствования овладели мною: я и рад был унижению, которым наказан был Егор Парменов и вместе с тем, как человека, жаль его было. Иван Семеныч был тоже мрачен. Я откровенно высказал ему свои мысли.

– Я сам то же чувствую-с, – отвечал он, – да что прикажете делать! На крапиву надобен мороз; промиротворь одному худому человеку, так он сотне хороших людей сделает зло». Чернышевский назвал подобное сострадание преступным, вредным для нравов общества. Писемский из текста издания Стелловского всю эту сцену устранил.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: «Сочинения А.Ф.Писемского», издание Ф.Стелловского, СПб, 1861 г., с исправлениями по предшествующим изданиям, ча-

стично – по посмертным «Полным собраниям сочинений» и рукописям.